«А ишо че? – надеясь на ответ, спросила она. – Ишо че мне делать? Как быть-то мне?» – и напряглась, натянулась, вслушиваясь, собирая в одно слабые проплывающие мимо звуки. Но нет, ничего не сказалось ей. Самое главное не сказалось. По-прежнему было тихо, шелест листьев и травы не сошелся в ответ. Она спросила еще раз, уже без надежды, – могилы молчали. И она решила, что не получила прощения. Так ей и надо. За какие такие заслуги она собиралась его получить? Сама себя не может простить, а хочет, чтоб простили они, – не стыд ли?

Дарья подняла глаза – в верхушках деревьев висел дым, в высоком небе плыли редкие веселые облачка. Солнце опустилось и полосило по кладбищенскому леску, длинные тени казались закругленными и твердыми – вдоль одной такой тени прыгали, как по лежащему стволу, друг за дружкой две пташки с задранными хвостиками. Но Дарья не захотела воротиться в этот мир, где светило закатным сиянием солнце и прыгали пташки, – было еще не время. Ей представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на суд много-много людей – там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды – все, кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца, – все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. А на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растерянности, в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступятся за нее перед всеми остальными, но они виновато молчат. А голоса все громче, все нетерпеливей и яростней… Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего. Она пытается отступить, но ей не дают: позади нее мальчишеский голос требует, чтобы она оставалась на месте и отвечала, и она понимает, что там, позади, может быть только Сенька, сын ее, зашибленный лесиной…

Ей стало жутко, и она с трудом оборвала видение. Приходя в себя, Дарья подумала нетвердой мыслью: «Выходит, и там без надежды нельзя. Нигде нельзя. Выходит, так».

Она приподнялась, покачалась, устанавливаясь на ноги, поклонилась холму и пошла в ту сторону, куда падали тени. Голова кружилась еще сильней, чем раньше, но Сенькина могилка была недалеко, шагах в тридцати, и она, подковыляв, опять опустилась на землю. «Тянет, тянет земля, – отметила она. – Седни, как никогда, тянет». Она боялась разговаривать с сыном: вот кого действительно обманула, не явилась, он там, христовенький, так и будет маяться на этом поселенье без связки со своим родом-племенем. Теперь все равно ничего не поделать. Она сидела, уставив перед собой невидящие глаза, и тяжело, подневольно, не зная ответов, думала и думала. Вокруг среди родных березок и сосен, кустов рябины и черемухи лежали оголенные, обезображенные могилы, горбатясь поросшими травой бугорками, чуть ли не в каждой второй из них покоилась родня: братья, сестра, дядья, тетки, деды, прадеды и дальше, дальше… Сколько их, она только что в слабом своем представлении видела, да и то они были не все. Нет, тянет, тянет земля. Подрагивали над ними листья на деревьях, качалась высокая белеющая трава. Легкое прозрачное облачко снесло вышним ветром на солнце и, не закрыв, сплющило его – солнечный свет померк, тени поднялись с земли. Потянуло прохладой.

А Дарья все спрашивала себя, все тщилась отвечать и не могла ответить. Да и кто, какой ум ответит? Человек приходит в мир и, пожив, устав от жизни, как теперь она, Дарья, а когда и не устав, неминуемо уходит обратно. Вон сколько их было, прежде чем дошло до нее, и сколько будет после нее! Она находится сейчас на самом сгибе: одна половина есть и будет, другая была, но вот-вот продернется вниз, а на сгиб встанет новое кольцо. Где же их больше – впереди или позади? И кто знает правду о человеке, зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение? И если ради детей, ради движения, ради этого беспрерывного подергивания – зачем тогда приходить на эти могилы? Вот они лежат здесь полной материнской ратью, молчат, отдав все свое для нее, для Дарьи, и для таких, как она, – и что из этого получается? Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие поколения? Ничего он не чувствует. Ничего не понимает. И ведет он себя так, будто с него с первого и началась жизнь и им она навсегда закончится. Вы, мертвые, скажите: узнали, нет вы всю правду там, за этой чертой? Для чего вы были? Здесь мы боимся ее знать, да и некогда. Что это было – то, что зовут жизнью, кому это надо? Надо это для чего-то или нет? И наши дети, родившись от нас, устав потом и задумавшись, станут спрашивать, для чего их рожали. Тесно уж тут. И дымно. Пахнет гарью.

«Устала я, – думала Дарья. – Ох, устала, устала. Щас бы никуда и не ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом узнать всю правду. Тянет, тянет земля. И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто такие глупые-то? Че спрашивать-то? Это только вам непонятно, а здесь все-все до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами, мы и глядим во все глаза, кто че делает, кто че помнит. Правда в памяти».

И уже с трудом верилось Дарье, что она жива, казалось, что произносит она эти слова, только что познав их, оттуда, пока не успели ей запретить их открыть. Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.

Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это сполна виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную правду. Она с трудом поднялась и пошла.

Справа, где горела пустошка, ярко плескалось в сумерках пламя; прокалывались в небе звездочки; четко и грозно темнел на поскотине одинокий «царский листвень». И тихо, без единого огонька и звука, как оставленная всеми без исключения, лежала, чуть маяча последними избенками, горестная Матёра.

Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить «она» об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, «царский листвень» – так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его – тогда и грянула та знаменитая гроза, в которую срезало молнией «царскому лиственю» верхушку и кинуло ее на землю. Без верхушки листвепь присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», и крепится остров к речному дну, одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра. Не в столь еще давние времена по большим теплым праздникам, в Пасху и Троицу, задабривали его угощением, которое горкой складывали у корня и которое потом собаки же, конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то листвень может обидеться. Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к наглавному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это, верно, имели свои причины.

И вот настал день, когда к нему, к «царскому лиственю», подступили чужие люди. Это был уже не день, а вечер, солнце село, и на остров спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую они исполняли на Матёре добрых две недели. И как ни исправно, как ни старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей, сроки подгоняли. Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее можно было иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно. Вот почему уже под ночь два мужика с прокопченными сверх меры, дублеными лицами свернули с дороги и приблизились к дереву.

Тот, что шел первым, с маху, пробуя листвень, стукнул обухом топора о ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову, – с такой силой он спружинил обратно.

– Ого! – изумился мужик. – Зверь какой! Мы тебе, зверю… У нас дважды два – четыре. Не таких видывали.

Второй, постарше, держал в руках канистру и, поглядывая на деревню, зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно, с резиновым взвизгом, шоркали. При той работе, которую творил их хозяин, сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и как терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не годились: на том и другом темнели дырки.

Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависал над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой.

– Как железное, – признал он и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу:– Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять – двадцать пять.

Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Оставил позадь себя канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол.

– Вот так, – удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор. – Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим.

И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жорко рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно.

Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась работа, листвень как ни в чем не бывало стоял на своем месте.

– Гляди-ка ты! – удивился тот же мужик. – Стоит! Ну постой, постой… – Это был веселый мужик, он баском пропел:– «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться вдоволь на тебя».

Однако глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственю всей командой – пять человек. Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли эти попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от резины.

– Ну зверь! – с восхищением щурился на листвень веселый мужик. – На нашего хозяина похожий. – Он имел в виду Богодула. – Такой же ненормальный. Нет чтоб добром сгореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть – тридцать шесть.

– Плюнуть на него, – неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй вчерашний знакомец лиственя – в болотных сапогах. – К чему нам дочиста все соскребать!

Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову:

– Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.

– Пилу надо.

– Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо.

– Я говорю про бензопилу.

– Не пойдет. Ишь че: ширше… – следовало непечатное слово. – Для него твоя бензопила – что чикотка.

Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.

– Что зря базарить?! – с усмешкой сказал он. – Нашли закавыку! Гольное смолье. Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький.

– Разводили же вчера.

– Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше.

– Давай попробуем еще. Должна загореться.

Болотные сапоги отправили на берег к бочке с бензином, остальные принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди, рубить их и обкладывать листвень высокой, в рост человека, клеткой, и не в одну, а в две связи. Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу, и мелкие сучья. К тому времени был доставлен бензин – не жалея, полили им вокруг весь ствол и снизу, от земли, подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный, дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали лица верхонками.

– Как дважды два – четыре, – победно крикнул тот, веселый…

Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал, слизнув бензин, сползать, отделяться от дерева, точно пылал вокруг воздух, а листвень под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым.

Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись с треском сухие жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к «царскому лиственю» не приставал, только мазал его сажей.

Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно. Мужики ругались. А дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей собственной.

– Надо завтра бензопилой все-таки попробовать, – согласился бригадир, только что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится.

И опять, уже громче, уверенней, прозвучали отступные слова:

– Плюнуть на него – и дело с концом! Пускай торчит – хрен с ним! Кому он помешал! Вода-то, где будет?! Деревню надо убирать, а мы тут с этим связались…

– Все бы плевали! – разозлился бригадир. – Плевать мы мастера, этому нас учить не надо. А принимать приедут – куда ты его спрячешь? Фуфайкой закроешь? Неужели дерево не уроним?

– Было бы это дерево…

На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному подступили к «царскому лиственю» с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее – пила зашлась высоким натужным воем, из-под нее брызнула легонькая струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким надрезом – не больше. Это было все равно что давить острой опасной бритвой по чурке, стараясь ее перерезать, – результат один. И бригадир оставил пилу.

– Неповалимый, – сдался он и, зная теперь лиственю полную цену, еще раз смерил его глазами от земли доверху. – Пускай с тобой, с заразой, возится, кому ты нужна!

Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на березу:

– Урони хоть ее. Чтоб не торчала тут. Наросли, понимаешь…

И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и норовистым, не поддавшимся людям «царским лиственем», упала, ломая последние свои ветви и обнажив в местах среза и сломав уже и не белое, уже красноватое старческое волокно. «Царский листвень» не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли материнские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели березы да на гарях чернели острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на полях с опаленными межами; выстывали луга; к голой, обезображенной Матёре жалась такая же голая, обезображенная Подмога.

Один выстоявший, непокорный «царский листвень» продолжал властвовать надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто.